

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ

№ 2

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1947 ГОДА
ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО

2014

МОСКВА

*Журнал издается под руководством
Президиума Российской академии наук*

“НАУКА”

СОДЕРЖАНИЕ

Философия и общество

В.Е. Кемеров – Ключи к современности – в сдвигах методологии.....	3
Т.Б. Длугач – Маркс: вчера и сегодня	14
Р.О. Рзаева – Конец метанарративов в контексте проблематики прошлого и вызовов будущего	23

Наши интервью

Беседа с В.М. Межуевым	30
------------------------------	----

Философия и культура

В.А. Емелин, А.Ш. Тхостов – Трансформация натуральной географии: технологические и когнитивные карты.....	42
Л.А. Кузьмина – К проблеме семиотической интерпретации наскального искусства	53
С.А. Родин – Отношения между личностью и государством в Древней Японии (по материалам жизнеописаний исторической хроники “ <i>Сёку нихонги</i> ”)	63
А.Н. Мещеряков – Средневековая Япония: райский сад и садовый рай	74

Философия и наука

В.К. Финн – Эпистемологические принципы порождения гипотез	83
Г.Д. Левин – Что есть вероятность?	97

Из истории отечественной философской мысли

К.А. Баршт – Двойной повествователь и двойной персонаж в “незакрытом” диалоге Ф.М. Достоевского (от “Бедных людей” к “Двойнику”).....	107
--	-----

А.А. Гапоненков – Эпистолярный диалог С.Л. Франка и Н.А. Бердяева.....	119
Из переписки С.Л. Франка и Н.А. Бердяева (1923–1926). Составление, публикация, подготовка текста, комментарии А.А. Гапоненкова	131

История философии

П.П. Гайденок – Средневековый номинализм и генезис новоевропейского сознания	155
---	-----

Из редакционной почты

М.Л. Алексеева – Осмысление феномена неперевоимости философами XX столетия.....	164
--	-----

Научная жизнь

С.М. Климова, А.Д. Майданский – Глобальное будущее 2045 (Обзор научной конференции в Белгороде).....	172
---	-----

Критика и библиография

И.К. Лисеев – Лекции и доклады членов Российской академии наук в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (1993–2013).....	176
В.А. Лекторский – D. Bakhurst. The Formation of Reason. Д. Бэкхерст. Формирование разума.....	178
С.А. Лебедев – Ю.Д. Гранин. Глобализация, нации и национализм. История и современность. Опыт социально-философского исследования	180
А.А. Ермичѳ – Густав Шпет: философ в культуре. Документы и письма.....	185
Наши авторы.....	190

**Председатель Международного редакционного совета –
Лекторский Владислав Александрович**

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Э. Агацци (Италия), Ань Цинянь (Китай), А.А. Гусейнов (Россия),
В.П. Зинченко (Россия), А.Ф. Зотов (Россия), А.Н. Нысанбаев (Казахстан),
А.П. Огурцов (Россия), Т.И. Ойзерман (Россия), М.В. Попович (Украина),
В.С. Степин (Россия), Ю. Хабермас (Германия),
Р. Харре (Великобритания)

Главный редактор – Пружинин Борис Исаевич

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**П.П. Гайденок, А.А. Гусейнов, В.К. Кантор, В.А. Лекторский, В.Л. Макаров,
В.В. Миронов, Н.В. Мотрошилова, И.С. Разумовский** (ответственный секретарь),
**А.М. Руткевич, Ю.Н. Солонин, В.С. Степин,
Н.Н. Трубникова** (заместитель главного редактора), **Т.В. Черниговская**
Сайт журнала – <http://www.vphil.ru>

Двойной повествователь и двойной персонаж в “незакрытом” диалоге Ф.М. Достоевского (от “Бедных людей” к “Двойнику”)

К. А. БАРШТ

Феномен двойничества в произведениях Достоевского коренится в его попытке описания сознания человека, пытающегося сделать правильный шаг в утверждении своего личного бытия во Вселенной. Выявление “лица идеи” каждой из двух сторон диалога рефлектирующего сознания порождало образы телесных двойников, противоположных этико-онтологически. Артефакт, с которым Достоевский столкнулся в процессе работы над романом “Бедные люди”, стал впоследствии композиционной основой “Двойника”. Многие элементы художественной структуры “Двойника”, и сама его идея непосредственно коренятся в романе “Бедные люди”. Двойная наррация “Бедных людей” обратилась в двойного персонажа “Двойника”.

The phenomenon of duality in Dostoevsky's works is rooted in his attempt to describe the consciousness of a man trying to approve state the statement of his ontological status in the Universe. Process of identifying “the personal idea “ for each of two points in the reflective consciousness was generated the body images, going to different ethical and ontological poles.

Artefact with which Dostoevsky faced while working on his first novel became the compositional framework for “The Double”. A number of elements in “Double’s” artistic structure and its artistic idea is directly rooted in “The Poor People”. The dual narration of “The Poor people” have led the author to the creation of the dual characters in “The Double”.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бытие, сознание, диалог, письмо, рефлексия, точка зрения, самовыражение, зеркальное отражение, кругозор, окружение, запустение, двойничество.

KEY WORDS: being, consciousness, dialogue, writing, reflection, viewpoint, self-expression, specular reflection, outlook, surroundings, desolation, duplicity.

Феномен “двойничества” в творчестве Достоевского уже к 1920-м гг. воспринимался как хорошо известная и даже “навязчивая тема” [Чижевский 2007, 54]. Большинство авторов, писавших об этом, склоняются к психолого-психопатологической версии объясне-

ния этого явления, а также указаниям на этико-культурные различия в мотивах поведения двух Голядкиных¹. Повесть “Двойник” остается в ряду “ранних” произведений писателя, несмотря на то, что только это произведение Достоевский пытался переписать после каторги и указывал на него как на воплощение “светлой” идеи: “если б я теперь принял за эту идею и изложил ее вновь, то взял бы совсем другую форму; но в 1846 году этой формы я не нашел и повести не осилил” (XXVI, 65)*. Мы знаем также, что вторым подходом к освоению этого замысла стали “Записки из подполья”, один из бесспорных шедевров Достоевского и программное произведение “большого” периода творчества. Далее, как справедливо указывает Чижевский, эта художественная идея “в различных видоизменениях возвращалась в его творчестве вновь и вновь” [Чижевский 2007, 55]. Связь “Двойника” с “Бедными людьми” обнаруживалась доселе лишь в социально-психологических аспектах: «низведения дворянско-чиновничьим обществом человека до степени грязной и затертой “ветошки”» и в теме уязвленной “амбиции” “человека-ветошки” (I, 487).

Как сформировалась в творчестве Достоевского феномен двойника? Обычные в таких случаях ссылки на использование Достоевским опыта Н.В. Гоголя, Э.Т.А. Гофмана и других авторов² нам представляются недостаточными и, временами, уводящими в сторону, ведь это явление глубоко коренится в творческом кредо писателя и лишь внешне совпадает с “двойниками” других авторов. Нельзя понять смысл “двойников” Достоевского, не обращая внимания на сами цели авторства, интенции и стратегию душевной жизни творящего художника.

Хорошо известно, что постановка вопроса о смысле своего существования и форме личного “присутствия” в мире – центральный пункт творческих исканий Достоевского; особый акцент в этих поисках с самого начала был сделан на аналитическое исследование некоего живущего по своим законам “постороннего лица”, плохо сочетающегося со всем тем, что его окружает³. Поиск ответа на “вековечный вопрос” предполагает возникновение внутреннего диалога, рефлексии, продвигающей сознание к оправданию своего бытия, осмыслению *своего* в окружающем пространстве, к построению непротиворечивой системы ценностей. Рефлексия всегда, так или иначе, онтологически определена, имеет характер религиозно-философского акта, определяющего мироотношение человека, формирующуюся вокруг него картину мира. Быть для Достоевского означало быть связанным положительно-приемлющей связью с другим (другими) в пределах общего смысла и содержания жизни [Бахтин 2003, 7–16]. Ему претило все, что отвергало конкретность живого индивидуального бытия, вместо него утверждая некое абстрактное “бытие”, взятое вне личного и индивидуального. Писатель с сомнением относился к идее “любви к человечеству”, был убежден, что “любить общечеловека значит наверное уж презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека” (XXI, 33). Поэтому любая мысль и любое слово дается у Достоевского с индивидуальной точки зрения, с определенной личной позиции, вне которой они ничего не значат и стоят: “Две мысли у Достоевского – уже два человека, ибо ничьих мыслей нет, а каждая мысль репрезентирует всего человека” [Бахтин 2000, 65]. Столь любимое писателем словосочетание “лицо идеи” означает: каждая идея имеет свое лицо, принадлежа какой-то определенной точке зрения на мир и ее в какой-то степени выражая. Никакого “общего знаменателя”, подходящего для всех, в виде какой-то религиозной или философской доктрины, разумеется, при такой постановке вопроса быть не может; ясно, что любая попытка навязать Достоевскому некую общепринятую идеологию заведомо окажется грубым искажением его творчества.

Таким образом, поиск смысла жизни, чем были заняты Достоевский и его персонажи, оформляется в виде утверждения ее основополагающей ценности, имеющей глубоко личный характер. Согласно убеждению писателя, нравственное состояние человека определяется его ответом на вопрос о смысле его жизни. Не тем ответом, который он артикулирует для других, а тем, который подспудно содержится в его душе и, к сожалению, может отличаться от того, что он говорит окружающим. Как именно происходит этот поиск, и к чему

* Здесь и далее все ссылки на Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского (в 30 т. Л.; СПб., 1972–1990) даны в тексте в круглых скобках, римская цифра означает том, арабская – страницы.

он приводит, собственно, и есть главный критерий, с помощью которого характеризуется тот или иной человек, а его моральное состояние есть лишь внешнее выражение глубинного состояния его онтологического самоопределения. Основание для бытия человека находится в том, что он сам признает ценностью, а его личная бытийная определенность создается его взглядом на “другого” и качеством взгляда “другого” на него. Другими словами, этическое достоинство человека зависит от его системы ценностей, которая, в свою очередь, прямо зависит его качества его онтологической позиции, и наоборот. Между полной онтологического самоопределения и этической полнотой жизни у Достоевского был ясный знак равенства. Однако интенсивность этически позитивного отношения к другому, помогающая онтологически утвердиться и выжить обоим участникам диалога, приводит к росту рефлексии, вызывающей все возрастающее раздвоение внутреннего мира. Одним из первых это трагическое противоречие заметил Н.А. Бердяев: Достоевский “берет человека в тот момент его судьбы, когда пошатнулись уже все устои жизни”, любовь имеет трагический характер, приводя к “раздвоению человека”: “любовь не есть достижение, в ней ничего не достигается. <...> Она раскалывает и раздваивает человеческую природу” [Бердяев 1923, 114].

Н.Н. Страхов писал об этом свойстве Достоевского: “С чрезвычайной ясностью в нем обнаруживалось особенного рода раздвоение, состоящее в том, что человек предается очень живо известным мыслям и чувствам, но сохраняет в душе неподдающуюся и колеблющуюся точку, с которой смотрит на самого себя, на свои мысли и чувства. Он сам иногда говорил об этом свойстве и называл его рефлексией. Следствием такого душевного строя бывает то, что человек сохраняет всегда возможность судить о том, что наполняет его душу, что различные чувства и настроения могут проходить в душе, не овладевая ею до конца, и что из этого глубокого душевного центра исходит энергия, оживляющая и преобразующая всю деятельность и все содержание ума и творчества” [Страхов 1883, 175]. Писатель вполне отдавал себе в этом отчет. В известном письме к Е.Ф. Юнге он подчеркнул высокую этико-онтологическую ценность такой формы самосознания: “Что Вы пишете о Вашей двойственности? Но это самая обыкновенная черта у людей... не совсем, впрочем, обыкновенных. Черта, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во всякой природе человеческой встречающаяся в такой силе, как у Вас. Вот и поэтому Вы мне родная, потому что это *раздвоение* в Вас точь-в-точь как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение. Это – сильное сознание, потребность самоотчета и присутствие в природе Вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность” (XXX (I), 149). Такого же характера раздвоенность Д.С. Мережковский обнаружил в Л.Н. Толстом, который сам “причину этих умственных находит” в “неестественно развившемся сознании”: “главное то, что его сознание развивалось не только извне, отдельно, не только в другом, но и в совершенно противоположном направлении, чем его бессознательная жизнь, так что всегда в нем было как будто два человека, и всегда один из них желал желать того, чего другой не желал.” [Мережковский 2000, 29].

Особенность этого раздвоения как следствия быть собой в акте любви к другому, напряженного внутреннего монолога, который естественным образом разбивается на два и обретает диалогическую форму, заключается в том, что обе части должны быть равны, здесь действует принцип сообщающихся сосудов – чем выше мы пытаемся поставить свое одно из противостоящих “я”, тем более возрастает качество индивидуальности альтер эго; чем более возвышается над вами значение “его” доводов, тем выше поднимается уровень самосознания первого “я”⁴. Если в сфере общественных отношений возвышение одного означает унижение другого, то в религиозно-философском акте рефлексии нельзя возвыситься за счет другого, равно как и возвысить другого, при этом в равной степени не возвысив себя, рабское подчинение авторитарному лидеру или подавление другого своей волей здесь невозможны⁵. Свойства такого типа диалога и взаимоотношения между личностями Достоевский сделал принципом, согласно которому выстраиваются отношения между героями-идеологами: все они, в той или иной мере, стремятся к уровню взаимопонимания, который обеспечивал бы им пребывание в истине единства “я-ты”, дающем бы-

тийную опору тем большую, чем выше качество взаимопонимания и взаимное обоснование прочности бытия каждого из участников диалога.

Парадоксальным образом возрастающий уровень внутренней раздвоенности увеличивает прочность онтологической опоры, равно как и стремление к утверждению себя в бытии требует все более и более ожесточенного внутреннего противостояния двух “я”. Вариантом решения этой проблемы становится художественное творчество, в котором две противостоящие картины мира, взятые с одной и той же точки зрения, могут быть олицетворены в форме двойников, сосуществующих в общей для них реальности художественного мира. Извне себя рефлектирующий субъект проявляется в роли более или менее “прагматического” или “идеального”, поочередно, в виде некоего этико-онтологического пунктира, с большим или меньшим акцентом на первое или второе. Эти два раздвоения приводят к появлению двойника в случае, если “или” заменяется на “и”: субъект начинает себя проявлять одновременно как реальное и идеальное на уровне физического тела. В реальной жизни такое раздвоение тела невозможно, но в художественном мире легко фиксируется построением двух персонажей, каждый из которых воплощает одну из сторон авторской рефлексии, раздвоенности его сознания, ищущего примирения между системой ценностей в “кругозоре” и “окружении”.

Стремление добыть основания для своей бытийности, свойственное героям-философам Достоевского, является корневым основанием и для эффекта “двойничества”, и для их религиозного самоопределения. Не случайно сам Достоевский связывал свои религиозные искания с моделью резкого раздвоения своего миропонимания, которое выглядит как маятник, колеблющийся между двумя крайностями: “человек по закону же природы, во имя <далее было: закону> окончательного идеала своей цели, должен непрерывно отрицать его. (Двойственность)” [Неизданный Достоевский, 173]; “И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую. Через большое горнило сомнений моя Осанна прошла” (XXVII, 86). Бахтин называл подобное состояние “активно–диалогическим пониманием” или “спором-согласием”⁶. В состоянии рефлексии человек пытается увидеть себя со стороны, т.е. создает точку видения, отдельную и независимую от его тела. Фактически, авторское начало содержится в любом ценностном соотношении моего “я” с неким “иным”, предполагая своего рода расщепление своего “я” на две персоны. Видимо, это имел в виду Мартин Бубер, отмечая, что процесс осознания себя человеком в мире, это “сложный и запутанный процесс, глубоко погруженный в двойственность”: “В волеии свободного человека нет произвола. Он верит в действительность; это значит: он верит в реальную связь реальной двойственности Я и Ты” [Бубер 1995, 25, 49].

Причиной возникновения “двойников” Достоевского, включая персонажа повести “Двойник”, является формат диалога, который будущий писатель ведет с окружающей его реальной действительностью с целью утверждения своего онтологического статуса. Реальность давала ему примеры тяжелых этических и онтологических противоречий (впечатления детства и юности – избивание лошади на рынке в Москве, сцена с фельдьегерем и др.), намечая глубокую пропасть между идеалом добра и красоты, обеспечивающим человеку бытийную устойчивость, и реальным положением дел с холодным презрением или ненавистью к нему окружающих, опускающих его в ад “запустения” (I, 86)⁷. Этот механизм разведения двух сторон рефлектирующего сознания по разные стороны этой пропасти и порождения телесных двойников, уходящих на разные этические полюса, действовал на протяжении всей жизни Достоевского, начиная даже не с повести “Двойник”, но с его первого произведения – романа “Бедные люди”.

Это произведение Достоевского получило эпистолярную форму в продолжение повествовательного опыта, который сложился в процессе переписки Достоевского, непосредственно предшествовавшей написанию романа (1838–1843) [Баршт 2012, 26–51]. Формируя модель “мира для двоих”, идеальной “зеркальной” коммуникации, Достоевский в своем романе проигрывает всевозможные варианты коммуникативных удач и неудач. В ответ на первое письмо, исполненное радости и упоения мыслью о признании его бытия другим человеком, Девушкин получает едкий, сатирический ответ Вареньки, где высмеи-

ваются его “розовые чувства” и все понимается, по мнению Девушкина, в превратном виде. Такие моменты бывали и в переписке Достоевского с братом, как и в романе “Бедные люди”, непонимание со стороны респондента становилось причиной возникновения трагического ощущения разъединения с миром. В ответ на очередное письмо брата, Достоевский пишет: “Сколько ощущений толпятся в душе, и милых и неприятных, и сладких и горьких; да! брат милый – и неприятных и горьких; ты не поверишь, как горько, когда не разберут, не поймут тебя, поставят все в совершенно другом виде, совершенно не так, как хотел сказать, но в другом, безобразном виде... Прочитав твое последнее письмо, я был un engagé, потому что не был с тобою вместе: лучшие из мечтаний сердца, священнейшие из правил, данных мне опытом, тяжким, многотрудным опытом, исковерканы, изуродованы, выставлены в прежалком виде...” (XXVIII (I), 66). Ранее, как выход из описанного в этом письме состояния “запустения”, будущий писатель рассматривал “проект”, который позже обратился в сюжетный ход “Двойника” – “сделаться сумасшедшим” (XXVIII (I), 51).

Речь идет о формировании повествовательной модели Достоевского, которая, отталкиваясь от специфического “проективного” автобиографизма, основанного на глубоком анализе перспектив развития той или иной жизненной ситуации, в которую попадал писатель, с приданием каждому из этих направлений нарративного и социально-ролевого статуса, обращала личную жизненную перспективу в сюжетную коллизию или судьбу литературного персонажа. Дальнейшее формирование сюжета произведения проходило под диктовку закономерностей глубокого внутреннего конфликта Достоевского с окружающим его социумом и формированием антитезы, принципиально иного пути развития, что выражалось в создании двух характеров – идеального, живущего по законам “нравственного закона”, и приспособленного к условиям социальной жизни, с ее “главной добродетелью гражданской – деньги уметь зашибить”, как формулирует Девушкин (I, 47). Эти два продукта внутренней рефлексии, резко отличающиеся по этическому наполнению и максимально близкие (родственные) по всем другим параметрам (иногда – включая телесное сходство), приходят в конфликтную ситуацию, являющуюся метафорой внутреннего разлада, существующего в отношении самого писателя к окружающему миру.

В “Бедных людях” описывается, как два человека ищут опоры друг в друге, обмениваясь позициями повествователя и реципиента; каждый из них, с помощью выраженного в тексте “кругозора”, предоставляет другому необходимое ему для жизни “окружение”. Говорит/слушать есть выражение внутреннего/внешнего, меняясь этими функциями, герои “Бедных людей” создают друг для друга пространство жизни. Отвечая на письма Девушкина, Варенька, которая и есть единственное приемлемое для него пространство жизни, дает перспективу, подобно зеркалу, поставленному напротив другого зеркала, трагизм ситуации подчеркивается тем, что это лишь иллюзия бесконечной перспективы. В такой модели скрыта безысходность – тотальная замкнутость на конкретном одном дает некую опору, но опору весьма хрупкую, исчезающую вместе с уходом или гибелью другого существа; в таком диалоге между двумя конкретными лицами скрыта некая безысходность. Девушкин говорит Вареньке: когда Вы уедете, к кому я буду письма писать (I, 107)? Это фактически означает: “где я найду опору для своего существования в мире?”. Размышляя о том, почему ему необходима эта переписка, он говорит: “вы именно об этом подумайте – что вот, дескать, на что он будет без меня-то годиться? <...> А то что из этого будет? Пойду к Неве, да и дело с концом. Да право же, будет такое, Варенька; что же мне без вас делать останется?” (I, 58). Оканчивая – его проект онтологического определения – Достоевский перефразирует эти строки в письме к Михаилу Михайловичу: “А не пристрою романа, так может быть и в Неву. Что же делать?” (XXVIII (I), 110).

В разной степени уверенности и правдивости человек может смотреть внутрь себя и от себя в окружающий мир. Проблема Девушкина (как и самого Достоевского) в том, что эти два вектора у них ментально не различаются. Это проявление особого строя души, которая не в состоянии приспособляться и “дешево уживаться” (V, 139), в отличие от персон, которые выстраивают две ценностные системы, две поведенческие модели – для жизни внутри себя и для внешнего употребления. Человек с единой и универсальной ценностной системой не способен лгать онтологически, и, поэтому, он не лжет этически,

именно поэтому он оказывается в “запустении”. Обладающий двумя системами ценностей, для себя и для других, удобно устраивается в действительности, как Ратазиев или Голядкин-младший; лишенный оной испытывает жесткий конфликт с окружающим миром, который мгновенно становится тотально чужим, требующим смерти или изгнания (“запустения”) индивида, не обладающего никакими ресурсами для того, чтобы быть понятым окружающими. Роднит Голядкина и Девушкина (а также их автора) мышкинская неспособность противостоять неприязненному отношению к себе окружающих [Анненский 1906, 31–38; Евнин 1965, 11–19]. Плата за внутреннюю принципиальность велика – избежав духовного раздвоения, он необходимо раздваивается интеллектуально, на уровне мировоззрения, впадая в тем большее противоречие, чем выше уровень его этико-онтологической ответственности. Рост самосознания ведет к трагической гибели, работает принцип, который позже Достоевский выразил словами “сознание убивает жизнь”⁴. Девушкин, равно как все другие герои-философы Достоевского, находится в жесткой оппозиции к реальности тем сильнее, чем сильнее в нем жажда признания, уважения и любви со стороны окружающих, невыносимость состояния “запустения” заставляет искать альтернативную точку видения реальности.

Фактор “жизни вдвойне” (I, 49) персонажей Достоевского, лежащий в основании формирования сюжета всех его произведений, начиная от “Бедных людей” и “Двойника” и кончая “Братьями Карамазовыми”, является корневой категорией творческого метода писателя. Глубокий конфликт с миром, законы которого резко противоречат идеалам, сложившимся в сознании человека, и рост самосознания, приводящий к углублению рефлексии, становятся предпосылками образования своеобразной онтологической стереофонии – попытки выслушать все голоса одновременно, а для этого представить их в виде отдельных телесно оформленных живых существ. Так артефакт, с которым Достоевский столкнулся в процессе работы над романом “Бедные люди”, стал последствием основной сюжета “Двойника”. Многие элементы художественной структуры “Двойника” и сама его идея непосредственно коренятся в тексте романа “Бедные люди”⁹.

Двойственность существования – в идеальном мире “на двоих” и в суровой реальности “департамента” – является главным свойством восприятия Девушкиным окружающего мира. Эффект двойного видения возникает у Девушкина во время посещения им “офицеров”, обидевших Вареньку (I, 67). Затем он переживает феномен “жизни вдвойне”, встретив шарманщика и обнаруживает в нем своего двойника: “Вот и я точно так же, как и этот шарманщик, то есть я не то, вовсе не так, как он...<...> точно так же, как и он, по мере сил тружусь...” (I, 87). Постоянные переключения видения Девушкина с точки зрения “от себя на другого” на “от другого на себя” приводят к тому, что он оказывается способен воспринимать реальность изнутри тела “другого”, что сопровождается временной утерей способности видеть мир изнутри собственного “я”. Так, в сцене скандала с испорченным документом и последующим визитом к “его превосходительству” Девушкин полностью утрачивает ощущение своего тела и начинает видеть себя со стороны. Вначале, когда его вызывают в кабинет к начальнику, его личность раздваивается, он “прирастает к стулу” и ощущает себя неким чужим посторонним существом, которое “точно и не я”. Подобного рода практика пребывания в статусе “не я” в данном случае не является уникальной в жизни Девушкина, он говорит о себе: “я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было” (I, 92). Далее, в сцене с “оторванной пуговкой” в кабинете начальника состояние раздвоенности выходит на новый уровень: его точка видения отделяется от его тела, он начинает воспринимать реальность со стороны, от “другого”. Он подчеркивает, что не видел всю эту сцену изнутри себя самого, однако помнит, как это выглядело снаружи: “Я вспомнил, что я видел в зеркале: я бросился ловить пуговку!”. Раздвоение видения с помощью “зеркала” приводит к частичной потере возможности в полной мере владеть своим телом, этим объясняется то, что он никак не может взять в руки оторванную пуговицу: “Нагнулся, хочу взять пуговку, –катается, вертится, не могу поймать...” (I, 92). В этой сцене, фактически, присутствуют два Девушкиных – действующий персонаж и еще одно лицо, видящее эту сцену и описывающее его действия со стороны. Душа Девушкина раздваивается, он теряет реальный контакт с внешним миром, не может взять в руки пугови-

цу, пытается сжаться в одну точку, сидя в “присутствии”. Подобно самому Достоевскому, который всегда жаловался на свою неуклюжесть и неловкость, отсутствие “жеста и формы” (XXVIII (II), 289).

Имя главного героя “Двойника” коренится в самоназвании Макара Девушкина – “гольчиновник” (I, 69), упоминание о котором в романе связано с раздвоением человеческого “я” на пути выполнения одной из социальных ролей: одной уготован обед из “каши без масла”, а другой – “соте-папильйот” (I, 69). Логика движения творческой мысли Достоевского предопределила, что двойной повествователь в романе “Бедные люди” переходит в статус двойного персонажа в повести “Двойник”. С помощью нового варианта двойного видения, в рамках которого сохраняется необходимый уровень внутреннего диалога, необходимого для онтологической устойчивости, и, одновременно, возможности укоренить его в социальной действительности, Достоевский преодолевал ужас “запустения”, наметенный им в “Бедных людях”, с его тотальной невозможностью быть понятым, воспринятым, оцененным и признанным другими людьми. Это привело к созданию второго акта трагедии человека в мире – повести “Двойник”.

В “Бедных людях” смысл бытия Девушкина определялся наличием Варвары Доброселовой (ее отъезд с Быковым обесмысливает и уничтожает жизнь Девушкина, лишая его опоры – сочувственного и “положительно-приемлющего” восприятия). Судьба Голядкина – это описание дальнейшей жизни Девушкина, который после потери Вареньки совершает отчаянную попытку найти себе новую жизненную опору взамен утерянной. Герой “Двойника”, носитель того же самого ужаса “запустения”¹⁰, в котором пребывал Девушкин, предпринимает отчаянную попытку найти себе бытийную опору в социальной реальности, “выходит в свет” из состояния своей прежней камерной онтологизации, ищет себе понимающего его “другого” (Крестьяна Ивановича), новую Вареньку Доброселову (в ее роли выступает Клара Олсуфьевна) и, разумеется, в обоих случаях терпит крах, погружаясь в состояние “не я”. Одновременно вторая половина его существа, предполагающая возможность жизни по правилам, принятым в окружающей его реальности, отказывается от своего прежнего тела как бытийного тупика, обретает реальность и становится противостоящим ему субъектом.

Фактически, в “Двойнике” Достоевский обрисовывает перспективу “жить как все”, осознаваемую, но не принимаемую его персонажем, вовне его сознания и включает его в ту самую реальность “запустения”, которую он пытается преодолеть. В этом смысле “Двойник” – это осмысление параметров ментальной границы между собой (как “должным”) и всем остальным; внутренняя граница между двумя субъектами рефлексии переносится Достоевским вовне, в физическую реальность, обозначенную художественным пространством. Эта граница понимается нами не как линия, отделяющая одно пространство от другого, но как нечто пронизывающее “изнутри все части или точки охватываемого ею пространства или объема” [Мамардашвили 1997, 170]. Переход этот осуществляется плавно. Вначале Голядкин-младший являет собой совершенно идентичного герою человека, ведет себя не только как физический, но и как духовный брат героя, и лишь затем происходит поляризация – жизнь по этико-онтологическому принципу остается со старшим, жизнь с использованием прагматически-деловой модели уходит к младшему. Пользуясь терминологией Хайдеггера, сюжет обоих первых произведений Достоевского определяется борьбой героя за свое “присутствие” в мире и преодоление разрыва между “бытием” и “существованием” в попытке обрести онтологическую полноту жизни [Хайдеггер 1997, 11–14].

Тупиковая ситуация “безысходного диалогизма”, описанная в “Бедных людях”, подчеркивается в “Двойнике” с помощью эффекта зеркальности. Пытаясь извлечь из окружающей его реальности точку опоры для своей жизни, Голядкин всматривается в зеркало, которое, правда, дает ему не опору, а некий пространственный симулякр бытия, “короткое замыкание” в онтологическом и этическом смысле. Зеркало удваивает отраженный объект, не предоставляя ему реального пространства и реальной телесности; пустота зеркального отражения оказывается устрашающим знаком ложной бытийности, лишенной пространства и времени. Онтологическая безысходность зеркала заключается в том, что

в зеркале мы себя не видим непосредственно, “мы остаемся в себе самих и видим только <...> отражение своей наружности, но не себя в своей наружности, наружность не обнимает меня всего, я – перед зеркалом, а не в нем; зеркало может дать лишь материал для самообъективации...” [Бахтин 2003, 112].

Характерны для Голядкина и Девушкина их неуклюжесть, неумение себя вести, постоянные попадания впросак, все это совершенно естественно для углубленного в себя человека, который, как и сам Достоевский, “теряет правильную, чисто внутреннюю установку по отношению к своему телу, становится неповоротливым, не знает, куда деть руки, ноги; это происходит потому, что в его жесты и движения вмешивается неопределенный другой, у него рождается второй принцип ценностного отношения к себе, контекст его самосознания путается контекстом сознания о нем другого, его внутреннему телу противостало оторванное от него и в глазах другого живущее внешнее тело” [Бахтин 2003, 136]. Согласно вниманию натуралиста, “собака в зеркале видит в себе другую собаку” [Пришвин 1969, 22]; человеческая рефлексия наталкивается здесь на онтологическую преграду, в основании которой лежит пространственная “незаместимость” человеческого существа: “Моя мысль помещает мое тело сплошь во внешний мир, как предмет среди других предметов, но не мое действительное видение, оно не может прийти на помощь мышлению, дав ему адекватный образ” [Бахтин 2003, 108]. При смотре в зеркало возникают ножницы: чужое тело такое же, как я / и этот другой совсем не я. Этот разлад приводит к формированию облика “такого же как я, но другого”, что создает предпосылку для возникновения двойника – остается лишь поделиться с ним своим “окружением”.

Казалось бы, подходя к зеркалу, Голядкин заботится о своем внешнем облике, однако истинной причиной, почему он это делает, является попытка убедиться в факте собственного существования. В “Двойнике” зеркало появляется в романе трижды, с каждым новым его упоминанием из простого инструмента отражения обращаясь в машину для клонирования: “Выпрыгнув из постели, он тотчас же подбежал к небольшому кругленькому зеркальцу, стоящему на комод. Хотя отразившаяся в зеркале заспанная, подслеповатая и довольно оплешивевшая фигура была именно такого незначительного свойства, что с первого взгляда не останавливала на себе решительно ничего исключительного внимания, но, по-видимому, обладатель ее остался совершенно доволен всем тем, что увидел в зеркале” (I, 110). Удовольствие Голядкина связано не с видом его физиономии, подчеркивает писатель, но именно с тем, что он увидел себя со стороны. Далее, находясь в ресторане и испытывая ту же неизбывную тоску “запустения”, и потому без особых на то причин находясь “в крайнем волнении”, он внезапно встает и подходит к зеркалу, с помощью этого отражения снова налаживает душевное спокойствие – “оправился и огладился” (I, 133). Следующим актом его взаимоотношения с самим собой становится обретение его внешним обликом второй реальной телесности: “в дверях, которые, между прочим, герой наш принимал доселе за зеркало, стоял один человек, стоял он, стоял сам господин Голядкин, – не старый господин Голядкин, не герой нашей повести, а другой господин Голядкин, новый господин Голядкин...” (I, 174). Коммуникативный и онтологический тупик, в котором оказался Голядкин, не нашедший вокруг себя никакой бытийной опоры, кроме зеркала, порождает необходимость телесного другого, и, за его неимением, он клонирует себя, физически реализуя продукт своей рефлексии в виде отдельного, существующего в реальности индивидуума¹¹.

В первые минуты своего рождения Голядкин-младший ведет себя смущенно и робко, точно так же, как сам Голядкин, в эти минуты он действительно точная копия Голядкина-старшего, одновременно напоминая Девушкина: “Гость был в крайнем, по-видимому, замешательстве, очень робел, покорно следил за всеми движениями своего хозяина, ловил его взгляды, и по ним, казалось, старался угадать его мысли. Что-то униженное, забитое и запуганное выражалось во всех жестах его <...> заглядывает всем в глаза и прислушивается, не говорят ли чего люди о его обстоятельствах, не смеются ли над ним, не стыдятся ли его, — и краснеет человек, и теряется человек, и страдает амбиция...” (I, 153). Однако затем ситуация переворачивается, ассимилируясь в “департаменте”, он кардинально ме-

няется, обретая облик ловкого и удачливого мошенника, того самого, которого Девушкин определил как обладающего “добродетелью гражданской”.

Обратим внимание на то, что внешность Голядкина отражается не столько от зеркала, сколько от границы, разобщающий его с окружающей действительностью, в роли зеркала может выступать порог, разделяющий интерьер и экстерьер его домашнего жизненного пространства. Истинным зеркалом, от которого отражается Голядкин как отдельное от всего остального существо, является линия, пролегающая между его “кругозором” и “окружением”. До возникновения на пороге его дома двойник Голядкина появлялся в виде отражения от “мутной черной воды Фонтанки” (I, 139), именно в тот момент, когда с ним приключился очередной приступ тоски “запустения”, когда все возможности зацепиться за реальность и утвердиться в ней в роли полноправного участника бытия исчерпаны, и он впал в состояние промежуточное между бытием и небытием, потерял ощущение времени: “в истощении сил” он “дошел до такого отчаяния, так был истерзан, так был измучен, до того изнемог и опал и без того уже слабыми остатками духа, что позабыл обо всем... Вдруг... вдруг он вздрогнул всем телом и невольно отскочил шага на два в сторону. С неизъяснимым беспокойством начал он озираться вокруг... ему показалось, что кто-то сейчас, сию минуту, стоял здесь около него, рядом с ним, тоже облокотясь на перила набережной... новое ощущение отозвалось во всем существе господина Голядкина: тоска не тоска, страх не страх... лихорадочный трепет пробежал по жилам его” (I, 139–140). В заключительной главе повести Голядкин-младший вторично появляется на пороге, “в дверях, которые герой наш принимал доселе за зеркало, как некогда тоже случалось с ним” (I, 174). Этот переход объекта рефлексии из внутреннего диалога с собой, из сферы сознания, в реальность, в виде отдельного телесного воплощения обозначает морально-онтологический крах Голядкина, окончательную потерю им своего места в бытии, которое теперь занимает его более подходящий для социума вариант, Голядкин-младший. Заметим, что Голядкин-старший, потеряв часть себя, ушедшую к Голядкину-младшему, меняется ментально, теряет часть памяти: он не узнает Крестьяна Ивановича во второй встрече. Это для него “другой”, “ужасный” Крестьян Иванович, Крестьянов Ивановичей также становится два (I, 229).

В рамках отмеченного нами принципа глубокого автобиографизма, действовавшего на протяжении всей жизни писателя, персонажи писателя и далее возникали из “двойников” как нереализованных или нереализуемых возможностей развития его личной судьбы¹². Эти персонажи борются за свое бытийное утверждение, ищут пути к решению вопроса о смысле своего существования, что и составляет содержание их жизни в той же мере, в какой описание этих поисков составляет текст произведения Достоевского. В “Униженных и оскорбленных” повествователь впадает в состояние “*мистического ужаса*”, которое характеризуется состоянием “раздвоения”: “и это раздвоение еще больше усиливает пугливую тоску ожидания. Мне кажется, такова отчасти тоска людей, боящихся мертвецов” (III, 208). Версиров, раскалывая икону, по сути, не совершает акт иконоборчества, но фиксирует тем самым расколотость и раздвоенность своего внутреннего мира. Повествователь замечает: «настоящего сумасшествия я не допускаю вовсе, тем более что он – и теперь вовсе не сумасшедший. Но “двойника” допускаю несомненно. <...> Да и сам Версиров в сцене у мамы разъяснил нам это тогдашнее “раздвоение” его чувств и воли с страшною искренностью...<...> “Так, дескать, расколотся и ваши ожидания!” Одним словом, если и был двойник, то была и просто блажь...» (XIII, 446). Имя героя “Преступления и наказания” фиксирует раздвоенность, свойственную и всем персонажам писателя, и ему самому, равно как и любому другому мыслящему человеку. О “двойных мыслях”, расщепляющих сознание героя, говорится в “Идиоте” (VIII, 301). Согласно мнению Д.С. Мережковского, “князь Мышкин, если, в конце концов, и не достиг единства, то все-таки ближе к нему, чем Раскольников, не потому, однако, чтобы он был дальше от раздвоения, а как раз наоборот – потому, что раздвоение в нем хотя и более скрыто, но еще глубже, чем в Раскольникове, а ведь, только пройдя *до конца* всю глубину раздвоения, можно достигнуть единства” [Мережковский 2000, 366–367]. О русле, по которому проходило рождение “двойников” в произведениях Достоевского, свидетельствуют случаи неполного телесно-ментально-

го раздвоения героев-двойников, когда некоторая часть их самосознания оказывается в совместном пользовании, и один помнит то, что должен помнить только другой. В таких случаях “двойники” Достоевского оказываются связанными некой незримой ментальной пуповиной, обмениваясь не только речевыми формулами, но и мыслями. Свидригайлов повторяет никогда не слышанные им слова Раскольникова, сказанные тет-а-тет Соне, о “воши-старушке” (VI, 334–335). В “Братьях Карамазовых” Достоевский применил сходный художественный прием: явившийся к Ивану черт, с одной стороны, развивает его же мысли, а с другой – вступает с ним в полемику как оппонент. Иван говорит ему: “...ты – я, сам я, только с другою рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю... и ничего не в силах сказать мне нового!” (XV, 73).

Как в закрытом, замкнутом пространстве диалога между двумя существами, пребывающими в “запустении” (в этико-онтологической пустыне, где нет оправдания, смысла, опоры для жизни), исчезает одна из этих опор и это ведет к гибели другого, описано в романе “Бедные люди”. Выведение в реальный мир двух точек своей внутренней рефлексии в виде двух телесных существ описано в “Двойнике”. Замыкание от мира внутри своего самосознания (“мечтатели” ранних произведений) также не приводит к желаемому результату, решению “проклятого вопроса”. Все перечисленные варианты ущербны, ведут к трагическому концу, необходимо иное – “незакрытое” [Бахтин 2000, 154] диалогическое отношение к другому, которое обеспечивает ясную бытийную перспективу, является условием для постановки “векового вопроса”, вне решения которого Достоевский не мыслит себе существования человека. Творческий путь Достоевского пролегал от первого ко второму. Писатель постоянно имел в виду свой опыт двойной наррации и двойного персонажа, реализованный в первых произведениях и фактически определивший его движение к новой художественной форме диалогического повествования, “полифонии”.

Таким образом, феномен двойничества в произведениях Достоевского коренится в его попытке описать сознание человека, пытающегося сделать правильный шаг в направлении утверждения своего личного бытия во Вселенной. Это закономерно порождает глубокий конфликт с обществом, которое требует иного – активной социализации, общественной активности, жизни “по правилам”. Фактически, с помощью своих “двойников”, Достоевский поставил в своем творчестве вопрос о возможностях, которыми располагает человек в современном обществе для реализации своего “голоса” и утверждения своего бытия как существенного и необходимого не только в определенной профессионально-социальной сфере, но в пределах Космоса. Здесь кантовский “моральный закон”, в высокой степени интенсивности действовавший в душе Достоевского, и правила гражданской (или “служебной”) петербургской жизни вступали в неразрешимый конфликт. Возникла раздвоенность, которая жила внутри сознания Достоевского и одновременно стала инструментом творческой работы, порождая внутренне раздвоенных героев-философов и/или телесно раздвоенных персонажей его произведений.

ЛИТЕРАТУРА

Аксаков 1847 – *Аксаков К.С.* Три критические статьи г-на Имрек. Статья III. Петербургский сборник, изданный Некрасовым // Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847.

Альтман 1961 – *Альтман М.С.* Гоголевские традиции в творчестве Достоевского // *Slavia*. 1961. Т. XXX. Вып. 3.

Анненский 1906 – *Анненский И.Ф.* Книга отражений. СПб., 1906.

Баршт 2012 – *Баршт К.А.* Эпистолярная форма и двойная наррация в повествовательной модели Ф.М. Достоевского // *Достоевский: философское мышление, взгляд писателя. Dostoevsky Monographs*. Vol. III. СПб., 2012.

Бахтин 2000 – *Бахтин М.М.* Проблемы творчества Достоевского // *Бахтин М.М.* Собрание сочинений в 7 тт. Т. 2. М., 2000.

Бахтин 2003 – *Бахтин М.М.* К философии поступка. Автор и герой в эстетической деятельности // *Бахтин М.М.* Собрание сочинений в 7 тт. Т. 1. М., 2003.

Бахтин 2012 – *Бахтин М.М.* Слово в романе // *Бахтин М.М.* Собрание сочинений в 7 тт. Т. 3. М., 2012.

Бем 1936 – *Бем А.Л.* У истоков творчества Достоевского. Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский. Прага, 1936.

Бердяев 1923 – *Бердяев Н.А.* Миросозерцание Достоевского. Прага, 1923.

Бехтерев 1962 – *Бехтерев В. М.* Достоевский и художественная психопатология // *Русская литература.* 1962. № 4.

Бубер 1995 – *Бубер М.* Я и Ты // Бубер М. Два образа веры. М., 1995.

Виноградов 1929 – *Виноградов В.В.* Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский. Л., 1929.

Евнин 1965 – *Евнин Ф.* Об одной историко-литературной легенде (повесть Достоевского “Двойник”) // *Русская литература.* 1965. № 3.

Иванов 1987 – *Иванов Вяч.* Достоевский и роман-трагедия // *Иванов Вяч.* Собрание сочинений. Т. 4. Брюссель, 1987.

Ломагина 1971 – *Ломагина М.Ф.* К вопросу о позиции автора в “Двойнике” Достоевского. Филологические науки. 1971. № 5 (65).

Мамардашвили 1997 – *Мамардашвили М.К.* Кантианские вариации. М., 1997.

Мережковский 2000 – *Мережковский Д.С.* Л. Толстой и Достоевский. М., 2000.

Неизданный Достоевский – Литературное наследство. Том 83. Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860–1881 гг. М., 1971.

Пришвин 1969 – *Пришвин М.М.* Незабудки. М., 1969.

Сартр 2000 – *Сартр Ж.П.* Слова. М., 2000.

Страхов 1883 – *Страхов Н.Н.* Воспоминания о Ф.М. Достоевском // *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений в 14 томах. Том 1. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883.

Хайдеггер 1993 – *Хайдеггер М.* Что такое метафизика? // *Время и бытие.* М., 1993.

Хайдеггер 1997 – *Хайдеггер М.* Бытие и время. М., 1997.

Чиж 1885 – *Чиж В.* Достоевский как психопатолог. М., 1885.

Чижевский 2007 – *Чижевский Д.И.* К проблеме двойника (Из книги о формализме в этике) // *Вокруг Достоевского.* В двух томах. Т. 1. М., 2007.

Примечания

¹ Об авторской позиции и “двойниках” Достоевского [Ломагина 1971, 10]; о психологическом аспекте “двойничества” [Чиж 1885, 12–33; Бехтерев 1962, 135–141]; истолкование “Двойника” как “романа сознания” [Виноградов 1929, 279–290; Бем 1936, 139–163]; история создания этого произведения [Альтман 1961, 452–457].

² Комментарий к академическому ПСС Ф.М. Достоевского связывает повесть “Двойник” с “художественным миром Гоголя и с поэтикой гоголевских петербургских повестей”, называя основным сюжетным событием повести «поражение бедного чиновника <...> в неравной борьбе с более богатым, поставленным выше него на иерархической лестнице соперником в борьбе за сердце и руку дочери “его превосходительства»» (I, 487–488).

³ “Человек есть тайна. Ее надо разгадать”; “Мне кажется, мир принял значение отрицательное <...> Попадись в эту картину лицо, не разделяющее ни эффекта, ни мысли с целым, словом, совсем постороннее лицо... что ж выйдет? Картина испорчена и существовать не может!” (XXVIII (I), 63, 50).

⁴ Хайдеггер указывает на возникновение в подобных случаях особого морального состояния, которое он называет “заботливостью” и которое имеет двойственный характер: “Она может с другого “заботу” как бы снять и поставить себя в озабоченности на его место, его заменить. Эта заботливость берет то, чем надо озаботиться, на себя вместо другого. Он при этом выброшен со своего места, отступает, чтобы потом принять то, чем озаботились, готовым в свое распоряжение или совсем снять с себя его груз. При такой заботливости другой может стать зависимым и подвластным, пусть та власть будет молчаливой и останется для подвластного утаена” [Хайдеггер 1997, 122].

⁵ “Субъект, утративший источник и основу всей своей этической конкретности – конкретность “я”, свое “кто”, теряет и ту сферу конкретности, которая у него еще осталась, – “свое место”, конкретную “сферу свободы”, свое “где”» [Чижевский 2007, 73].

⁶ “Всякое конкретное понимание активно: оно приобщает понимаемое своему предметно-экспрессивному кругозору и неразрывно слито с ответом, с мотивированным (хотя бы *implicite*) воз-

ражением-согласием.<...> Понимание и ответ диалектически слиты и взаимообуславливают друг друга, одно без другого невозможно” [Бахтин 2012, 35].

⁷Этот термин первого философа Достоевского, Макара Девушкина, типологически идентичен понятию “пустоты” в философии XX в. [Хайдеггер 1993, 17–18; Хайдеггер 1997, 60].

⁸“Строго говоря: чем менее сознает человек, тем он полнее живет и чувствует жизнь. Пропорционально накоплению сознания теряет он и жизненную способность” (XX, 196).

⁹Стоит отметить, что первым, кто разглядел в Девушкине предтечу Голядкина, был К.С. Аксаков [Аксаков 1847, 25–33].

¹⁰Ср. этот термин Достоевского, одно из центральных понятий структуры “Бедных людей”, с аналогичным по смыслу концептом “заброшенности”, разработанным в философии экзистенциализма: “Заброшенность предполагает, что мы сами выбираем наше бытие. Зброшенность приходит вместе с тревогой” [Сартр 2000, 14].

¹¹“В основе интриги лежит, таким образом, попытка Голядкина ввиду полного непризнания его личности другими заменить себе самому другого” [Бахтин 2000, 113].

¹²Можно вспомнить утверждение Вяч. Иванова, что герои Достоевского – размножившиеся двойники самого автора, переродившегося и как бы при жизни покинувшего свою земную оболочку [Иванов 1987, 424].